

ПРОЛОГ

Видишь ли, как все было...

Я пою городу.
Чертов город. Я стою на крыше дома, в котором даже не живу, простираю руки в стороны, напрягаю диафрагму и бессмысленно вою на строящееся здание, которое загораживает мне обзор. Хотя на самом деле я пою городскому пейзажу, раскинувшемуся за ним. Город поймет.

Светает. Предрасветная влага липнет к джинсам, отчего они становятся склизкими — впрочем, может быть, дело в том, что их уже много недель никто не стирал. У меня хватает мелочи на стирку и сушку, но вот других штанов, в которые можно было бы влезть на время стирки, — нет. Наверное, вместо этого я зайду в «Гудвил» неподалеку, потрачусь на еще одни штаны... но позже. Сначала я закончу орать: «ААААаааААА-Ааааа, — вдох, — ааааААААаааааааа», — и послушаю, как звук отражается от каждого фасада вокруг и возвращается ко мне. В моем воображении оркестр играет «Оду к радости», а на фоне битует Баста Раймс. Мой голос лишь связывает их во едино.

— Да хорош уже горлопанить! — кричит кто-то, так что я отвешиваю поклон и ухожу со сцены.

Однако, положив ладонь на ручку двери, что ведет на лестницу, я останавливаюсь, оборачиваюсь, хмурюсь и прислушиваюсь, потому что на миг мне слышится далекий, негромкий душевный напев. Глубокий и басистый. Словно кто-то отвечает мне, почти застенчиво.

А совсем издалека до меня доносится кое-что еще: зарождающийся рык, негармоничный, режущий слух. Или, может быть, это просто вой полицейских сирен? Как бы там ни было, звук мне не нравится. Я уйду.

* * *

— Все устроено определенным образом, — говорит Паулу. Этот паршивец снова курит. Я никогда не видел, чтобы он ел. Рот ему нужен только для сигарет, кофе и болтовни. А жаль, ротик-то у него ничего.

Мы сидим в кафе. Я пришел сюда с ним лишь потому, что он купил мне завтрак. Посетители косятся на него — по их стандартам Паулу недостаточно белый, но откуда он конкретно, им неясно. На меня они косятся, потому что я определенно черный и потому что дырки в моей одежде явно появились не ради моды. Ничем дурным от меня не пахнет, но эти люди за милую учуют всякого, у кого нет ни копейки на счете.

— Ага, — отвечаю я, откусываю сэндвич с яйцом и чуть не растекаюсь от удовольствия. Настоящее яйцо! Швейцарский сыр! Гораздо вкуснее той дряни, которую продают в «Макдоналдсе».

Этот парень любит порассуждать. Мне нравится его акцент, совсем не похожий на испанский: он говорит немного в нос и шепелявит. У него огромные глаза, и я думаю: «Сколько бы мне всего сходило с рук, будь у меня всегда такой взгляд, как у щеночка». Но он, похоже, старше, чем кажется, — намного, намного старше. Седина лишь легонько тронула его виски, придавая ему солидности, но говорит Паулу так, будто ему лет сто.

Он тоже косится на меня, причем в его взгляде есть что-то непривычное.

— Ты слушаешь? — спрашивает он. — Это важно.

— Ну да, — говорю я и снова кусаю сэндвич.

Паулу подается вперед.

— Я тоже сначала не поверил. Конгу пришлось затащить меня в канализацию, прямиком в вонючую темноту, и показать мне растущие корни, прорезывающиеся зубы. Я всю свою

жизнь слышал дыхание. И думал, что все его слышат. — Он замолкает. — Ты его уже слышал?

— Что слышал? — спрашиваю я, и ответ оказывается неверным. Не то чтобы я его не слушаю. Мне просто плевать.

Он вздыхает.

— Слушай.

— Да я слушаю.

— Нет. Тебе нужно слушать, но не меня. — Паулу встает, кидает на стол двадцатку — только делать этого не нужно, потому что он уже заплатил за сэндвич и за кофе у стойки, а официантов в этой кафешке нет. — Встреться со мной здесь в четверг.

Я беру двадцатку, разглядываю, затем убираю ее в карман. Я бы переспал с ним и за сэндвич или просто за красивые глаза. Ну да ладно.

— Пойдем к тебе на квартиру?

Он хлопает глазами, затем его лицо становится сердитым.

— *Слушай*, — снова приказывает он мне и затем уходит.

Я остаюсь, стараюсь растянуть сэндвич на подольше, потягиваю оставшийся после него кофе, воображаю, что я нормальный, и наслаждаюсь этой фантазией. Я смотрю на людей, на то, как они одеты; на лету сочиняю стихотворение о богатой белой девушке, которая видит в своем кафе бедного черного паренька, и у нее случается экзистенциальный кризис. Я представляю, как произвожу впечатление на Паулу своей утонченностью, как он восхищается мной и не думает, что я — всего лишь тупой парнишка с улицы, который его не слушает. Я вижу, как возвращаюсь в чистенькую квартиру с мягкой кроватью и холодильником, битком набитым едой.

Затем в кафешку входит коп — жирный, красномордый тип, который заскочил сюда купить по бутылке пива себе и своему напарнику, оставшемуся в машине. Его безжизненные глаза обводят зал. Я воображаю, что мою голову окружает вращающийся цилиндр зеркал, от которых его взгляд отскакивает. Конечно, фантазии мне ничем не помогут; так я просто пытаюсь унять свой страх, когда поблизости появляются чудовища. Но

на этот раз, впервые в жизни, трюк срabатывает: коп оглядывается, но не замечает единственное в зале черное лицо. Повезло. Я ускользаю прочь.

* * *

Я рисую для города. Когда я еще учился в школе, к нам по пятницам приходил художник; он давал бесплатные уроки, объяснял перспективу, светотень и всю ту прочую ерунду, которую белые изучают в художественных школах. Только тот парень тоже туда ходил, и он был черным. Прежде я никогда в жизни не видел черного художника. Минуту мне казалось, что, может быть, и я смогу им стать.

Иногда у меня получается. Глубокой ночью, где-нибудь в Китайском квартале, я кружусь и ползаю раком по крыше. В каждой руке у меня аэрозольные баллончики, рядом — ведро краски для гипсокартона, которую кто-то выставил за порог после того, как покрасил свою гостиную в сиреневый цвет. Краской для гипсокартона лучше не увлекаться; она начнет отваливаться через пару дождей. Краска из баллончика подходит куда лучше, но мне нравится контраст двух текстур — жидкой черной на грубой сиреневой, с красным по краям черного. Я рисую дыру. Она похожа на глотку, которая не начинается ртом и не заканчивается легкими; она непрерывно дышит и заглатывает, но никак не может насытиться. Ее никто не увидит, если не считать пассажиров самолетов, летящих к Ла-Гуардии с юго-запада, нескольких туристов, которые закажут вертолетный тур, и воздушной разведки нью-йоркской полиции. Мне плевать, что они увидят. Я рисую не для них.

Уже очень поздно. Я не нашел себе ночлег, но зато нашел, чем заняться, чтобы не уснуть. Не будь сейчас конец месяца, я бы пошел в метро, но копы, не выполнившие план, наверняка ко мне прицепятся. Впрочем, здесь тоже нужно быть осторожным: к западу от Кристи-стрит полно стукнутых на всю голову китайцев, которые любят воображать себя бандой, защищающей свою территорию. Так что я стараюсь не привлекать к себе внимания. Я худенький и темный, что тоже помо-

гает остаться незамеченным. Черт, я всего лишь хочу рисовать, потому что во мне что-то сидит и рвется наружу. Мне нужно открыть эту глотку. Мне нужно, мне нужно... да. Да.

Когда я провожу последний черный штрих, раздается едва слышный, странный звук. Я замираю, недоуменно оглядываюсь... а затем глотка позади меня вздыхает. Мощный порыв влажного ветра щекочет мою кожу, поднимая на ней волоски. Мне не страшно. Ради этого я и рисовал, хотя и не понимал зачем, когда начинал. Я и сейчас не знаю, как понял. Но когда я поворачиваюсь, то вижу лишь краску на крыше.

Паулу надо мной не прикалывался. Ха. Или мама была права, и у меня всегда было что-то не то с головой.

Я подпрыгиваю и улюлюкаю от радости, хотя даже не знаю почему.

Следующие два дня я бегаю по всему городу и рисую везде дыхательные отверстия, пока наконец моя краска не заканчивается.

* * *

В день, когда я снова встречаюсь с Паулу, я так измотан, что спотыкаюсь и чуть не вваливаюсь в витрину кафешки. Он хватается за локоть и подтаскивает к скамье для посетителей.

— Ты слышишь, — говорит он, похоже, довольный.

— Я слышу кофе, — намекаю я, даже не пытаюсь подавить зевок. Мимо проезжает полицейская машина. Несмотря на усталость, я включаю воображение и представляю, что я ничтожество, недостойное их внимания, и что даже бить меня — только руки марать. Снова сработало — они проезжают мимо.

Паулу пропускает мой намек мимо ушей. Он садится рядом, и его взгляд на миг становится странным, словно он смотрит куда-то вдаль.

— Да. Городу дышится легче, — говорит он. — Ты хорошо потрудился, хотя тебя никто и не учил.

— Я старался.

Он, похоже, повеселел.

— Не понимаю, то ли ты мне не веришь, то ли тебе просто все равно.

Я пожимаю плечами.

— Я тебе верю. — А еще мне немного все равно, потому что я очень хочу есть. Мой живот урчит. У меня еще осталась та двадцатка, которую он мне дал, но с ней я пойду в Проспект-парк на церковную распродажу, о которой недавно слышал, куплю курицу, рис, овощи и кукурузный хлеб, и стоит все это будет меньше, чем чашка импортного латте.

Он опускает взгляд туда, где урчит мой живот. Ха. Я приотворяюсь, что мне нужно потянуться, и чешу место над прессом так, чтобы приподнять край футболки. Однажды тот художник привел к нам на урок натурщика и показал небольшую полоску мышц над бедрами, которая называется «поясом Аполлона». Взгляд Паулу упирается прямо в нее. «Ну же, ну же, ловись-ловись рыбка. Мне нужно где-то переночевать».

Затем Паулу щурится и снова смотрит мне в глаза.

— Я уже и позабыл, — задумчиво, едва слышно говорит он. — Я почти... Как же давно это было. Когда-то, еще мальчишкой, я жил в *фавелах*.

— В Нью-Йорке с мексиканской едой туговато, — отвечаю я.

Он моргает и снова смотрит на меня так, словно я сказал что-то смешное. Затем его лицо становится серьезным.

— Этот город погибнет, — говорит он. Паулу не повышает голос, но это и не нужно — теперь я весь внимание. Еда, выживание — все это кое-что для меня, да значит. — Если ты не научишься тому, чему я должен тебя обучить. Если ты не сможешь. Настанет время, и ты потерпишь поражение, и тогда этот город присоединится к Помпее, Атлантиде и десяткам других, чьи имена уже никто не помнит, хотя вместе с ними погибли сотни тысяч людей. Или же он родится мертвым, станет лишь оболочкой города, которая однажды, возможно, снова оживет, но на время искра его жизни угаснет, как это случилось с Новым Орлеаном. Как бы там ни было, *ты* все равно погибнешь вместе с ним. Ты — катализатор, который либо даст ему силу, либо приведет к уничтожению.

Он говорил о таких вещах с тех пор, как впервые появился. О местах, которые никогда не существовали, событиях, которые не могли происходить, о знамениях и предвестниках. Я считаю, что все это чушь собачья, ведь он рассказывает об

этом *мне*, парнишке, чья родная мама вышвырнула его из дома и ежедневно молится о том, чтобы он сдох. Наверное, она меня ненавидит. Да сам *господь бог* меня ненавидит. А я ненавижу бога в ответ, так что с чего бы это ему выбирать меня ради какой-то великой цели? Но именно из-за него я и начинаю внимательно слушать, из-за бога. Даже если я во что-то не верю, это не значит, что оно не может испортить мне жизнь.

— Скажи, что мне сделать, — говорю я.

Паулу кивает; вид у него самодовольный. Думает, что взял меня на крючок.

— Ага. Значит, умирать тебе не хочется.

Я встаю, потягиваюсь; чувствую, как улицы вокруг меня удлиняются и становятся податливыми на все усиливающейся дневной жары. Интересно, это происходит взаправду или только в моем воображении; или же все происходит взаправду, но я воображаю, что это как-то связано со мной?

— Да иди ты. Не в этом дело.

— Значит, даже на это тебе плевать. — Тонем голоса он намекает, что это вопрос.

— Дело не в том, что я не хочу умирать. — Когда-нибудь я очоурюсь с голоду, или замерзну одной зимней ночью, или подцеплю заразу, буду гнить, пока больницам не придется принять меня даже без денег и адреса прописки. Но пока я не протянул ноги, я буду петь, и рисовать, и танцевать, и трахать-ся, и плакать для города, потому что он мой. *Мой*, чтоб его. Вот почему.

— Дело в том, что я хочу *жить*, — заканчиваю я. Затем поворачиваюсь и смотрю на него в упор. Если Паулу не понимает, о чем я, то он может идти в задницу. — Скажи мне, что делать.

В лице Паулу что-то меняется. Теперь он слышит. Меня. Так что он встает и уводит меня прочь, чтобы преподать мне мой первый настоящий урок.

* * *

Урок таков: большие города похожи на живых существ; они рождаются, растут, стареют и, когда приходит их время, умирают.

Тоже мне новость, да? Всякий, кто хоть раз бывал в настоящем большом городе, так или иначе чувствует это. Все, кто живет вне городов и ненавидит их, — они не просто так чего-то боятся, большие города действительно *другие*. Они — бремя для мира, разрыв в ткани реальности, наподобие... наподобие черных дыр, наверное. Да. (Я иногда хожу в музеи. Там внутри классно, да и Нил Деграсс Тайсон красавчик.) Со временем в города стекается все больше и больше людей, они оставляют здесь свои странности, затем уходят, и их заменяют другие. Так разрыв увеличивается. В конце концов он становится настолько глубоким, что образует карман, соединенный... с чем-то... лишь тончайшей нитью из... чего-то. Из того, из чего сделаны города.

Тем не менее процесс запускается, и в этом кармане части города начинают множиться и обретать свои отличительные черты. Его канализационные коллекторы простираются в места, где нет необходимости в воде. В его трущобах прорезаются зубы, в его центрах искусств — когти. Самые обыкновенные процессы, вроде движения транспорта, строительства и тому подобного, начинают происходить ритмично. Если записать их звуки и быстро воспроизвести в обратном порядке, они будут похожи на биение сердца. Город... оживает.

Но не все города достигают этой точки. Прежде на нашем континенте существовало несколько великих городов, но это было до того, как Колумб подгадил индейцам, так что нам пришлось начинать все сначала. Как и сказал Паулу, Новый Орлеан не смог ожить, но он не погиб окончательно, и это уже хорошо. Он может попробовать родиться снова. Мехико уже почти готов. Но Нью-Йорк — первый американский город, достигший этой точки.

Созревание может занять двадцать лет, или двести, или две тысячи, но в конце концов время придет. Пуповина перерезается, и город становится самостоятельным; теперь он способен стоять на нетвердых ногах и делать... ну, все, что, черт возьми, захочет делать живое, мыслящее существо, имеющее облик охрененно большого города.

Однако, как и всегда по законам природы, рядом таятся другие существа. Они ждут этого момента, желая поживиться

новорожденной жизнью, сожрать ее целиком, наслаждаясь воплями.

Поэтому Паулу и пришел учить меня. Поэтому я могу сделать так, чтобы городу легче дышалось; могу размять и помассировать его асфальтовые конечности. Видите ли, я кто-то вроде акушера.

* * *

Я управляю городом. Я управляю им каждый чертов день.

Паулу отводит меня домой. Это просто чья-то съемная летняя квартира в Нижнем Ист-Сайде, но здесь я чувствую себя как дома. Я залезаю в его душ и съедаю немного еды из его холодильника, без спросу, просто чтобы посмотреть, что он сделает в ответ. Он не делает ровным счетом ничего, только закуривает сигарету — наверное, чтобы позлить меня. Я слышу полицейские сирены на улицах по соседству, частые, близкие. Почему-то мне приходит в голову, а не ищут ли они меня. Вслух я ничего не говорю, но Паулу видит, как я задержался. Он говорит:

— Предвестники Врага будут прятаться среди городских паразитов. Остерегайся их.

Он всегда несет такой загадочный бред. Кое-что я понимаю, например, когда он размышляет о том, что, возможно, у всего этого есть некая *цель*: у великих городов и у процесса, который их создает. А действия Врага — нападения в момент уязвимости; гнусные преступления, совершенные просто потому, что подвернулась такая возможность, — могут быть разминкой перед чем-то большим. Но порой Паулу несет откровенный бред, например, когда говорит, что мне стоит подумать о медитации. Как будто я стану лучше понимать потребности города, если начну заниматься йогой, как белые девчонки.

— Да, йогой, как белые девчонки, — говорит Паулу, кивая. — Йогой, как индийские мужчины. Ракетболом, как биржевые маклеры; гандболом, как школьники; балетом и меренге. И будешь ходить в залы профсоюзов и галереи Сохо на Манхэттене. Ты станешь воплощением города с населением в миллионы человек. Тебе не нужно *превращаться* в этих людей, но знай, что они — часть тебя.